



Д. ФИЛОСОФОВ

Весенний ветер

И оседает онемелый,
Усталый, талый, старый лед...
Люби весенний ветер белый,
Его сверкающий полет!

*Э. Н. Гуппиус*¹

Кант, исследуя противоречия между природой и культурой*, между стремлением человечества к выполнению своего нравственного предназначения и подчинением его первобытным инстинктам зверской природы, приводит в виде примера несоответствие между моментами наступления половой и гражданской зрелости человека³. В естественном состоянии, в первобытном обществе — эти два момента совпадают. Но чем культурнее гражданское общество, чем сложнее общественная жизнь, тем больше разрыв между половой и гражданской зрелостью. Культура вступает в противоречие с природой. Праведный, нормальный инстинкт наталкивается на незрелое сознание, которое не может с ним справиться. Поэтому-то период наступления половой зрелости — самый опасный в жизни человека. Им, в сущности, предопределяется вся его судьба. Это эпоха раздвоения, когда человек способен одновременно на самое высокое и на самое низкое. Романтизм сталкивается с самым грубым реализмом. Пробуждающееся сознание еле справляется с потоком новых чувств и ощущений. В молодом существе происходит мучительный процесс образования личности, индивидуальности. И взрослым людям, конечно, за него страшно.

Мне кажется, пример Канта отлично иллюстрирует современное положение русской жизни. Прежде, когда Россия находилась в периоде младенчества, взрослые люди отвлеченно рассуждали, что они будут делать с выросшими детьми. Были сочинены великолепные программы. Все было учтено и взвешено. Одно только

* «Mutmaasslicher Anfang der Menschengeschichte». 17862.

упустили из виду, что половая зрелость наступает раньше зрелости гражданской. Когда в силу здорового жизненного инстинкта молодая Россия ощутила потребность свободы, поняла неестественность жизни в пеленках и вечного хождения на помочах, когда по всей России пронесся весенний ветер, началось пробуждение весны, все возрадовались. Кто не восхищался подъемом народных сил, который вывел нас из кабинетных теорий подпольных споров, интеллигентских мечтаний на свежий воздух, в широкое поле?

Но это восхищение длилось недолго. Сейчас же начались разочарования. Ждали гражданской зрелости, думали, что проснувшаяся стихия сразу войдет в рамку культуры, подобострастно подчинится заранее подготовленным программам и расписаниям. Но этого не случилось, потому что зрелый человек не есть еще зрелый гражданин, да и все предуготовленные программы и теории были созданы для человека отвлеченного, только разумного, в котором нет начала стихийного, иррационального. И тогда начались причитания о разбитых надеждах, плач о гибели культуры, словом — признаки общественной реакции. Однако нечего себя обманывать. Если в интеллигенцию вкралось разочарование и утомление, то именно потому, что идеи ее оказались слишком короткими. Они не выдержали напора нахлынувшей волны стихийного инстинкта свободы. Заготовленные в долгую зимнюю стужу математические расчеты оказались неприменимыми. Весенний ветер разрушил неустойчивые плотины. Порою кажется, что в культуре произошел *прерыв*, что слишком долгожданная весна не возродила, а погубила нас. Мы не справились с ней, наша культура не справилась с природой, и надо снова, упорным трудом, собирая камень за камнем, строить новые устои культуры новой⁴. Великая, тяжелая задача. На развалинах старых идеологий должны мы начать борьбу за новое мирозерцание. Жить в хаосе невозможно. Нам нужно идейное возрождение. От этого зависит наше будущее. Возложив все свои упования на интеллект, мы забыли противоположную ему силу, силу инстинкта, и эта забытая сила нам жестоко отомстила. Пресловутый интеллигентский «реализм» оказался самой нереальной мечтательностью, и, может быть, это самое страшное и самое значительное следствие переживаемого нами перелома русской жизни.

I

Литература — отражение жизни. Она хаотична, потому что хаотична жизнь: она переросла накопленный интеллигенцией уровень сознания. Еще недавно в литературе царили определенные направления, враждебные лагеря. Широкой публике надо было выбирать. Или читать декадентов, или увлекаться тенденциозным реализмом. Многие малодушные на такой выбор не решались и цеплялись за классиков. Какая ж это литература, Брюсов или Горький — говорили они, — когда у нас есть Толстой или Тургенев. Чехов был пределом модернизма. Теперь не то. Литературные партии как будто исчезли. Под напором весеннего ветра все смешалось, все как бы вернулось к «первоначальной интеграции». Разобраться в «современных течениях» стало почти невозможно. Стерлось как различие между отдельными литературными индивидуальностями, так и между направлениями. В ход было пущено, ставшее модным, словечко «мистический анархизм». Кличка в сущности бессмысленная, но пришедшаяся всем по вкусу. Найден был мешок, в который можно валить всех без разбора. Отдельные писатели протестуют, пишут письма в редакции, просят их не смешивать с сотоварищами. Но эти протесты похожи на те правительственные опровержения, которые только подтверждают верность опровергаемого. В новой литературной полосе еще не начался процесс дифференциации, еще нет гражданской зрелости. Она переживает половую зрелость, когда ломается голос, характер, убеждения, когда лишь начинает образовываться личность. Как бы ни смотреть на «мистический анархизм», эту скобку, за которую общественное мнение берет всю современную литературу, смотреть ли на него как на болезненное или нормальное явление, — его нельзя преодолеть извне, устранить мановением руки, признать несуществующим. Надо к нему подойти изнутри, расчистить молодой зеленый лес, освободить живые деревья от цепких порослей, которые, путаясь, высасывают их соки. Задача нелегкая, но необходимая: литература — отобраз жизни, и кто не прислушивается к голосу литературы, вряд ли услышит и голос жизни.

Первая крупная фигура, на которую наталкиваешься, подходя к новейшей литературе, это — Леонид Андреев. Он — истинно ценный материал для изучения современного идейного сдвига, перелома, который произошел в нашей интеллигенции.

Это писатель очень талантливый. Не гениальный, а именно талантливый. У него нет мудрости гения, нет творческого синтеза, но непосредственное художественное чутье подсказало ему, что старые пути ведут в тупик, и он бесстрашно пошел напрямки, через тайгу, без дороги, без карты, без компаса, словом — без всякой помощи со стороны культуры.

Карьеру свою он начал в «здоровой» среде «трезвого» реализма, около Горького, около сборников *Знания*⁵. Нечисть декадентства была ему глубоко чужда. Казалось, все для него просто и ясно, так же как для Горького или для Чирикова. Но художественный дар его оказался шире примитивного, общеармейского сознания, и Андреев, сам того не подозревая, создал несколько произведений, выходящих из твердо установленных пределов философии «оптимизма». Он написал «Бездну» и «В тумане»⁶. Наивные читатели и почитатели «Знания» проглотили эти две пилюли, не чуя их яда. Они не поняли, как глубоко эти две повести подкапывают основы их безмятежно ясной идеологии. Правда, были попытки истолковать трагедии молодых Андреевских героев недостатками режима. Дурные, мол, социальные условия погубили двух несчастных юнцов, а вот когда наступит обобществление орудий производства, тогда все будет иначе. Может быть, даже сам Андреев лишь смутно сознавал, что тут не в режиме дело, но теперь-то всем ясно, что бездна и туман пола шире «режима», что это — сила, легко становящаяся анархической, что пол проблема вечная, а не только историческая. Сам того не желая, Л. Андреев протянул руку В. В. Розанову, нововременскому декаденту, этому самому страшному революционеру пола.

Дальше пошло еще хуже. Увидав в самом источнике жизни туман и бездну, Андреев заглянул и в глаза смерти. Заглянул и преклонился. Здесь уже полное крушение философии «Знания». Пол и смерть, тайна пола и личности — убили общественность. Общество состоит из людей. Но где ж этим людям взять сил для борьбы за воплощение социальных идеалов, когда человек — раб «Серого Некто», когда он движется в тумане пола и каждую минуту может быть без остатка съеден слепыми силами разрушения? С этой точки зрения я и назвал «Жизнь человека» произведением глубоко реакционным*⁷.

* См. статью «Разложение материализма».

Один из «мистических анархистов», молодой и талантливый поэт А. Блок выступил в защиту Л. Андреева *⁸. Меня он обвиняет в том, что я пребываю в «культурном сне», что я «поддался магии европеизма». В своем увлечении культурой и Европой я просмотрел живую, реальную Россию, «или лучше Русь». Я вижу в Андрееве носителя «горьковской философии». «Но есть ли горьковская философия, — восклицает А. Блок, — не придумана ли она, не выведена ли *a posteriori* культурным критиком, меряющим на свой аршин писателей огромного таланта, устами которых вопит некультурная Русь?» И в «Жизни человека» Блок усматривает «рыдающее отчаяние», которое не притупляет, как утверждал я, чувства и воли, а будит их.

Что вчерашний декадент, сегодняшней, «мистический анархист», Блок взял под свою высокую руку Леонида Андреева, а с ним вместе и других реалистов из сборника «Знания» — факт сам по себе очень знаменательный.

Прежде всего, важно выяснить, к чему собственно сводится защита Андреева, и ответить Блоку на его основной вопрос.

Да, у Горького никогда никакой философии не было. Неужели Блок в этом сомневается? Но «горьковская философия» была и есть. Это тот ходячий, дешевый материализм, смешанный с гимназической романтикой, тот пресловутый монизм, который до самого последнего времени, до последнего сдвига, царил во всей нашей интеллигенции. Сам Горький на этой философии вырос, всосал ее с молоком матери. Это та философия, которая была везде и нигде, тот воздух, которым все дышали. Вооружившись ею, широкие слои нашего общества разрешали все вопросы человеческого бытия и, главным образом, проблему общественности. Все пессимисты, сомневающиеся в целебной силе «реализма» (и г. Блок в том числе), были признаны мещанами, культурными дикарями, или даже черносотенниками.

Но вот грянула гроза событий, и пресловутый реализм оказался сплошной утопией. При господстве решившего все вопросы безмятежного реализма — послышались вопли «рыдающего отчаяния». В самый разгар борьбы, когда сотни и тысячи людей сознательно шли на смерть, во имя жизни, оказалось, что эта жизнь — сплошная насмешка, «Серого Некто», какая-то бессмысленная чепуха. Есть от чего в отчаяние придти. И не за себя,

* См. его статью «О реалистах» (Золотое Руно, 1907 г., № 5).

а именно за ту некультурную Русь, о которой печется Блок. Это крушение «горьковской философии» нисколько не удивительно. Но страшно за тех, кому, в силу разных причин, не удалось, оторвавшись от Горького, добраться до ясного, трезвого сознания. Конечно, взобравшись на вершины метафизического Монблана, можно только радоваться, что толпа распростилась со старым кумиром. Чем скорей будет свергнуто самодержавие материализма, тем лучше. Но ведь мы живем не на Монблане. Смена идей и настроений происходит среди живых людей, и смотреть на их идейную растерянность и беспомощность, как будто опыты делаются *inanimavili*⁹ — невозможно.

Войдем в психологию любого «распропагандированного» рабочего, искреннего адепта «горьковской философии», хотя бы, например, в психологию героя последней повести Горького «Мать». Ему только что набили голову «экономическими надстройками», «всеобщим, равным и тайным», и т. д., и т. д. И вот этот рабочий попадает в театр, на пьесу Леонида Андреева. Он смотрит «Жизнь человека», не жизнь буржуа или черносотенного дворянина, нет, жизнь человека вообще, т. е. и *свою жизнь*. Какое это должно произвести на него впечатление? Ведь если он и «сознательный» рабочий, то мы-то знаем, что это только первые проблески сознания, зачатки его. Справится ли его полусознание уже не с горьковской философией оптимизма, а с андреевским «воплем отчаяния»?

И если люди более культурные отлично видят, насколько дешев этот бутафорский пессимизм, то увидит ли это та «некультурная Русь», о которой печется г. Блок? Ведь если «Жизнь человека» — как общественное явление — одно из *следствий* глубоких причин, связанных с переломом миросозерцания русского общества, то эта драма, в свою очередь, становится *причиной*, направляющей полупроснувшееся сознание в определенную сторону. Только что «некультурную Русь» обнадежили, наобещали того, чего заведомо не могли выполнить, и вдруг — крах. А что как «некультурная Русь» возьмет да и поверит Андрееву? Убедится, что все «прямые, равные и тайные» — пустая забава, что все бесчисленные жертвы революции погибли бессмысленно, в услужение «Серому Некто»? Куда ей тогда податься? Что ей делать? Остается одно, провалиться в столь дорогое и любезное г. Блоку русское, самобытное, хулиганство. Ему-то это не страшно. Для него это игрушки, эстетические «переживания», а для «некультурной Руси» это подлинные «слезки».

«Я думаю, — пишет Блок в вышеназванной статье, — что те страницы повести Скитальца, где “огарки” (бывшие люди) слушают какую-то “прорезающую” музыку в городском саду¹⁰, где певчий Северовостоков ссыпает в театральную кассу деньги, набросанные ему в шляпу озверевшей от восторга публикой, где спит на волжской отмели голый человек с узловатыми руками, громадной песенной силой в груди и с голодной и нищей душой, спит как “странное исчадие Волги”, — думаю, что эти страницы представляют литературную находку, если читать их без эрудиции и без предвзятой идеи, не будучи знакомым с “великим хамом”»¹¹.

Г. Блок со вкусом обсасывает эту «литературную находку», утомленный своей культурностью, он радуется сродству душ с «исчадием Волги» и «озверевшей толпой». Конечно, во всяком культурном человеке сидит зверь, насекомое, но, казалось бы, культура в том и состоит, чтобы идти от зверства к человечеству, а от человечества еще дальше и выше. Но Блоку этого не надо. Как юноши, не достигшие еще гражданской зрелости, он с бессознательной порочностью тянется к зверству исчадия Волги. Новая форма соединения интеллигенции с народом, соединение в хулиганстве, в нищете душ. Старые славянофилы верили в народ-богоносец, критические народники толковали о самобытном типе развития России, и все они говорили о неоплатном долге интеллигенции перед народом. А новейшие народники уменьшили задачу. Опустившись, опустившись, они братаются с обладающим песенной силой исчадием Волги: «В хороводы, в хороводы! О, соборуйтесь народы». Думаю, что эти хулиганские хороводы, это новое соединение обнищавшей интеллигенции с «некультурной Русью» не особенно утешительно. Неоплатный долг можно выплатить, накапливая богатства, а не проматывая их с легкомыслием.

Для смотрящего со стороны «европейца», братающиеся с исчадием Волги мистические анархисты не так страшны. Это явление находится в связи с тем сдвигом, который переживает наше общество. Оно вполне нормально и закономерно, а как реакция против благодушного позитивизма и зазнавшегося рационализма — даже отраднo. Но, несмотря на весь мой европеизм, несмотря на пребывание в «сонной культуре», я не могу смотреть на историю, как на процесс, и приносить в жертву этому Молоху живую человеческую личность. Это дело бесстрастных социологов, ортодоксальных марксистов, наблюдающих историю, как врачи, которые следят за борьбой бактерий в желатине, на-

конец, это дело эстетов, чающих новых литературных находок. Исчадие Волги не только социальный отброс, не только литературная находка, а, прежде всего, живая человеческая личность. И не только к этому исчадию, но и к Блоку нельзя относиться так, как он сам относится к «исчадию». И Блок живая личность, но только гораздо более свободная, чем исчадие Волги, потому что обладающая большим сознанием, большей независимостью от внешних условий, а следовательно и более ответственная. Когда Блок и его сотоварищи сводят праведный в основе своей бунт против плоского реализма не к освещенной сознанием свободе, а к разнузданности, чураются всякого нормирующего начала, видят в нем не условия коллективной свободы, а нарушение ее, — становится больно и горько. В этом новом народническом хулиганстве мистические анархисты теряют самое ценное, что они получили в наследство от старых декадентов, или, как их теперь называют, «неоромантиков 90-х годов»: ощущение личности. С извращенным сладострастием они топчут свое я, спешат раствориться в бесформенном хулиганстве. Соборный *индивидуализм* только пустое слово; потеря индивидуальности, жажда забыть ее — подлинная реальность.

*В тьме отдаления,
Самодовления,
Богом зачатая
Ярь непочатая,
Дщерь неизменности
Щедрых страстей
Сонно колышется...
(Городецкий) ¹²*

Блок против «сонной культуры Запада», но что ставится взамен этой сонной культуры? — «Сонно колышущаяся, самодовлеющая, ярь непочатая».

Ниже, исследуя теорию главного идеолога мистического анархизма, Вячеслава Иванова, я более подробно остановлюсь на противополжении русского Диониса-Ярилы западному Аполлону. Здесь мне хотелось лишь подчеркнуть раскол между старым и новым декадентством в столь существенном пункте, как понимание личности.

Понятие личности у старых декадентов было, конечно, очень шаткое. В нем нельзя искать определенных религиозных или

метафизических основ. Это было скорей полусознательное, мистическое ощущение творческого начала, заключенного в индивидуальности. Личность интересовала их не как абсолют, на котором должно построить связь людей с миром и между собою, а наоборот, как нечто самодовлеющее, обособленное, без всяких мостов к *не-я*, к внешнему миру. Связи между такими самодовлеющими, одинокими, личностями они и не искали. Им это было просто неинтересно, потому что их интересовало, прежде всего, не то, что *объединяет* людей, а именно то, что *разъединяет*, различает. Всякая общая норма была для них мещанством, пошлостью, всякое подчинение воли чему-либо внешнему, выше человеческой воли стоящему, было для них нарушением свободы. Главный их враг была *безличность*. Но, не имея ни философского, ни научного критерия, обладая лишь эстетическим чутьем, они, конечно, мало были гарантированы от нашествия в их среду *обратной пошлости*, — пошлости маленьких сверх-человечков, которые прикрывали творческое бессилие культивированием своих ничтожных «особенностей». Всякий горбун начинал гордиться своим горбом: «все-таки я не такой как другие»! Эта же боязнь метафизики сделала их духовными отцами мистических анархистов. Богатые индивидуальными творческими силами декаденты боролись с проявлениями безличности. Но оружие их оказалось непригодным. Старой, общеинтеллигентской безличности они не победили, а создали новую, куда более страшную безличность современных мистических анархистов. Наша старая, столь распространенная «горьковская» безличность, имеет за собою много хорошего. Это — простое бесхитростное уважение к *эмпирической* человеческой личности. Трезвое, здоровое стремление к примитивной человеческой культуре, к человеческому достоинству, стремление к тому, что отчасти уже достигнуто на Западе. Как бы ни относиться к Западу, как бы ни презирать заевшее его мещанство, это элементарное уважение к личности, на котором покоится весь его строй — громадная его заслуга, тот исторический плюс, за который нельзя не уважать Запада.

Успешная борьба за подлинный лик человека возможна только там, где достигнута эта первая ступень культуры — уважение к *безличной личности*. У нас в России все идет наыворот. На верхах, в самых высших слоях нашего общества, мы культурнее Запада, мы пошли дальше его. А внизу старое варварство, безличность не вторичная, как на Западе, а первозданная, первобытная.

Декаденты, в своей жажде личности, пришли к одиночеству. Мистические анархисты вырвались из этого одиночества, но не в сознательное общение *личностей*, а назад, в первичный хаос, в «ярь непочатую». Мистический анархизм сам по себе не имеет значения *положительного* и легко может получить значение отрицательное. К чему он приведет, можно будет лишь судить тогда, когда наступит гражданская зрелость. Он показал, что пренебрегать началом иррациональным, как то делал господствующий в нашем обществе рационализм — прежде всего, легкомысленно и нежизненно. Голый интеллект не может обнять творческой жизни. Спасение в сочетании обоих начал, в каком-то высшем синтезе. Но мистические анархисты, так же как и рационалисты, о таком сочетании пока и не думают. Они слепо преклонились перед началом иррациональным, мистическим и затемнили разум, отвергли сознательную личность. Они забыли, что им надо было идти к гражданской зрелости. Мистика — сила громадная, но сама по себе нейтральная. Не добрая и не злая. Доброй она становится, если овладеть ею при помощи высшего сознания, злой — если всецело подчиниться ей. А Блок с товарищами — находится именно в плену у нее. Справиться с мистикой нелегко. Это дело не единичных, а коллективных усилий, дело подлинной культуры.

У большинства наших мистических анархистов даже нет стремления к мистике сознательной. Леонид Андреев освободился от власти ходячего позитивизма и рационализма. Художественным инстинктом он ощутил силу иррационального и завопил с отчаяния о бессмысленности бытия, предал проклятию весь мир, как будто смысл мира должен совпадать с тем, как его понимает человеческий интеллект. Может быть, это лишь переходная ступень душевного роста Андреева. Хочется верить этому. Но как отнеслись к драме «Жизнь человека» мистические анархисты? «Ты наш, ты наш!» закричали они вместе с толпой и начали вокруг него свою свистопляску. Не возможный переход к высшему разуму приветствовали они в Андрееве, а отказ от здравого смысла. Этот отказ именно и прельщает мистических анархистов. «Все на свете бессмысленно, мы во власти темной иррациональной силы. Мир неприемлем. Да здравствует хулиганство!» Вот последний вывод «соборного индивидуализма». Милым юношам не приходит даже в голову, как безнадежна стара, я бы даже сказал провинциальна, эта хулиганская мистика, как безлична их анархическая лич-

ность, и в какую опасную игру они играют, — опасную, прежде всего, для них самих.

II

Идеологом мистического анархизма, главой и вдохновителем возрождения «варварства» и «мифотворчества» по праву считается Вячеслав Иванов.

Уже если кто пребывает во сне культуры, так это именно он.

Иванов противопоставляет латинский запад, насыщенный эллинизмом ясной формы и гармонического равновесия англо-германскому и славянскому варварству, которое ищет воскресить Элладу оргийную, древледионисическую, корибантизм асийских флейт и музыку трагических хоров. Он проповедует возрождение варварское, которое вернет нам миф. Художник вспомнит, что он был некогда мифотворцем, понесет свою ожившую новыми прозрениями душу навстречу дремлющей душе народной, и разбудит эту спящую красавицу. Поэзия станет вселенской, младенческой. Преодолевая отвлеченный индивидуализм, «эвклидов ум», прозревая в мире намеки божественного, она начертает на своем треножнике слова: хор, миф и действие. Так устремляется искусство к родникам души народной. Страна покроется оркестрами и фимелами для народных сборищ, где будет петь хоровод, где в действе трагедии или комедии, дифирамба или мистерии, воскреснет свободное мифотворчество¹³. Предвестников таких вселенских, младенческих мифотворцев Вяч. Иванов уже нашел в лице молодых писателей — Сергея Городецкого, Алексея Ремизова, Александра Блока, М. Кузмина.

Все это не фантазии лишнего ощущения реальности поэта и эрудита, не измышления, выросшие в кружках хулиганствующих культурников, на литературных журфиксах, в туманах предумышленного города Петербурга. Нет, это продуманное, зрелое *profession de foi*¹⁴, с которым Вячеслав Иванов выступает перед широкой публикой. Изложенная мною выше теория русского возрождения — заимствована из публичной лекции, прочитанной в Петербурге, на высших женских курсах, 14 апреля 1907 г.*¹⁵

Прежде всего, в Вяч. Иванове, как и в Блоке, поражает наивное народничество наизнанку. Западная культура, по мнению Иванова,

* Напечатана в «Золотом Руне», 1907 г., № 5.

«не культура, а дрессура, расчищенный сад и вспаханный огород, укрепленный за собственником».

Этой культуры Вячеслав Иванов не желает. Надежды свои он возлагает на стихийно-творческую силу народной, варварской души, на «поэтическую девственность непочатых верований и преданий, вещую слепоту мифотворческого мирозерцания»¹⁶. Словом, на воспетую Городецким «Ярь непочатую». Латинский запад слишком односторонен в своем культе Аполлона. Россия, с ее всеславянским варварством, наиболее к нему подходящая страна. Ее душа не в православии, как думали славянофилы, не в общинном быте, как утверждали народники, а в варварском, дохристианском оргиазме, который жив еще на Руси и который покрывает Россию «фимелами и орхестрами». Россия Богом избранная страна.

Русь! Что больше, и что ярче,
Что сильнее, и что смелее?
Где сияет солнце жарче?
Где сиять ему милей?
(Городецкий)¹⁷

В этом народничестве наизнанку чувствуется не здоровое *возрождение*, а болезненная *реставрация*.

В сущности, что делает Вяч. Иванов?

Одну из антиномий не только античной, но и всякой культуры, потому что тесно соприкасающейся с основным противоречием человеческого естества, — он разрешает не в каком-либо синтезе, а в одностороннем утверждении одного из тезисов антиномии.

В человечестве всегда шла борьба формы с хаосом, культуры с природой, Аполлона с Дионисом. В нем всегда таилась жажда феноменального проявления обособленности, индивидуации, потребность меры и трезвости — рядом с жаждой освобождения от феноменального мира, соприкосновения с духом музыки.

Но исторически Дионис предшествует Аполлону. Архаическая Греция развилась в классицизм Перикла, как бы победив Диониса. Вечный Дионис опять возродился, но уже в новой форме. «Вакханки» Эврипида — некое сочетание архаического Диониса с Сократом, с Эвклидовым умом. Далее развитие орфических и элевзинских мистерий шло параллельно с развитием классицизма, аполлинизм Сократа — уперся в мистику Плотина,

который, на склоне эллинской культуры, дал новую попытку сочетать Эвклидов ум с Дионисом. Между Плотиним и архаическим асийским корибантизмом лежит вся эллинская культура, и ее высшая точка — античная трагедия. *Трагедии* не может быть без столкновения *личности* с началом *безличным*, с Роком. Иванов же своей реставрацией архаизма отрицает *трагедии*, проповедует не разрешение трагедии, а ее механическое устранение путем отказа от личности. Вся его философия не что иное, как умствование эрудита над тем, как бы отделаться от умствований, оголеться, обнажиться, из абсолютной монады — превратиться в клеточку, в каплю великого океана стихии. Это особый вид романтической махаевщины¹⁸, отрицающей историю и ее уроки, а потому глубоко реставрационной, а не прогрессивной. Греки преодолевали трагедии, а не уклонялись от нее. В высшем опьянении принимали трагизм мира, а не бессильно спасались от него в простом пьянстве. Оргиазм Иванова есть именно пьянство, а не опьянение. Возрождая в своей трагедии архаического Диониса, классическая Греция ни минуты не отказывалась от ясного Аполлона. Признавая вечную силу бессознательного, она не хотела ничем поступиться из приобретенного своей великой культурой. Сила Диониса не в том, что он варварский, а в том, что он, как и Апполон, *вечный*. Культура есть бесконечный путь все новых и новых сочетаний этих двух противоположных начал, путь к соединению двух параллельных линий в одной последней точке. Своей проповедью архаического Диониса, Иванов неизбежно должен придти к отрицанию *культуры*, потому что без личности нет культуры. И если вся эта схоластика вышла из пределов кабинета нашего эрудита, то потому именно, что она совпала с переживаемым нами кризисом культуры и личности. Теперь, как никогда, вылился наружу живущий в варварском русском народе первобытный архаический Дионис, и г. Иванов с преступным легкомыслием, вопреки всей тяжелой борьбе русских западников, начиная с Петра Великого и кончая нынешним революционером, хочет сделать этого темного бога рычагом русского возрождения. Как немецкий аптекарь, готовит Иванов на своих декадентских журфиксах какую-то искусственную минеральную воду, наливает в зеленые бутылки и подносит русскому народу, который пьет еще угарную водку, зелено-вино, дающее не веселый хмель, а зверскую тупость.

Опохмеляясь своей искусственной водой, Иванов воображает, что он общается с народной душой, будит спящую красавицу.

Но прежде всего эта содовая вода — вовсе не нужна народу. Иванову же с товарищами русского *народного* хмеля никогда не переварить. Что русскому здорово, то немцу смерть. И наши петербургские вагнерианцы, ницшеанцы, оргиасты, соединяющие в своем заведении искусственных минеральных вод архаический эллинизм с Перуном и Барыбой, эти великие шутники, — именно те немцы, которым придет смерть, как только они приложат свои бескровные губы к шкалику подлинной русской сивухи. Уж если христианство не победило сивухи хлыстовства, самосожигательства, не смогло преобразить эту страшную силу, заложенную в народной стихии, то где уж немцам-аптекарям с их искусственной минеральной водой, с их филологией, тредьяковщиной и оргиастической похотью. Не они победят исчадие Волги, а исчадие Волги сожрет их без остатка. Объемшись своей эрудицией и культурой, Иванов просто отказывается от культуры. Его ученики с радостью пошли по этому пути отказа от культуры и, прикрывшись духом музыки, соединились с обществом «огарков», с бывшими людьми, перед которыми они совершенно безоружны. Завет Ницше — человек должен быть преодолен, — они исказили, превратили в культ зверства. О гражданской зрелости они забыли и думать.

А гражданская зрелость, культура, как раз и есть то, что отличает человека от зверя; половая зрелость — явление природное, а не культурное. Она есть и у зверей.

Весь этот оргиазм, все это мифотворчество, выросли на почве слишком зыбкого, не продуманного до конца индивидуализма. Мистика, не подчиненная никакой высшей норме, дух музыки, не связанный с сознанием, ведет к полной потере личности.

Это понял Андрей Белый и взбунтовался против музыки*. Белый прав в своем бунте.

Его никто не может упрекнуть в непонимании духа музыки. «Лучшие годы упивался я, — замечает он, — этим чарующим дурманом». И вот теперь он ощутил опасность этого дурмана, уничтожающего личность, действие и ценность. Музыка — вампир, высасывающий душу героя. Концертный зал — громоотвод геройства. Белый недоумевает, в чем нормативная красота музыки, а вместе с теми прочими форм искусства. Норма реализуема

* Весы, 1907 г., № 3. «Против музыки». См. также *Вольфинг*: «Борис Бугаев против музыки» (Золотое Руно, 1907 г., № 5) и ответ Бугаева (Перевал, 1907 г., №10).

только там, где она опирается на *ценность*, а самоценность всего настоящего и прошлого искусства в свете проблемы ценностей для Белого сомнительна вообще.

Вольфинг в своем возражении не понял скорби Белого, и, встав на защиту музыки, ответил мимо¹⁹. Вольфинг говорит о музыке, как о специальном роде искусства, из которого не надо делать кумира, приводит много ценных замечаний специалиста, но это все *не о том*. Не о музыке, как о специальном роде искусства, говорил А. Белый, а о духе музыки. А. Белый зовет вперед, за пределы музыки, стремится победить ее, овладев ею. Вольфинг зовет назад, к узко эстетическому, декадентскому пониманию музыки как специального рода искусства. Начинается опять старое одиночество специалиста, когда отдельные личности, по выражению А. Белого, становятся фабричными трубами: каждый видит в трубу кусочек неба, но не видит того, кто с ним рядом. Для Белого это одиночество так же ненавистно, как и безличный дух музыки. Если, присматриваясь к молодым, веришь, что у них есть сила выбраться из тупика, в который они попали, то именно потому, что среди них есть такие люди, как А. Белый. Он еще не высказался. Слишком он молод, да и не дают ему говорить серьезно. Поневоле он обречен на то, чтобы пускать эффектные фейерверки афоризмов. А вместе с тем в нем сочетались все условия для того, чтобы сказать серьезное и нужное слово. С одной стороны, у него большое чисто художественное дарование, соединенное с глубокими мистическими переживаниями, с другой — ясный, трезвый, философский ум и большая философская эрудиция.

Всем существом своим ощущает он, что эвклидов ум не может и не должен быть в противоречии с религиозным сознанием, что настоящая, продуманная до конца гносеология неизбежно в какой-то точке соприкасается с вечными сверхэмпирическими ценностями*. Наивная же варварская мистика большинства современной молодежи, отрицая значение ценности, высшей нормы, вырождается в новую пошлость — в махаевщину. «Свобода, свобода», — кричат новые мистики. «Прочь всякие догмы, они

* Андрей Белый, в философском отношении, опирается на Риккерта²⁰. Думаю, что ему следовало бы считаться и с французским философом Бергсоном. В *идейном* кризисе, переживаемом Францией, Бергсон сыграл не меньшую роль, чем Риккерт²¹ в Германии.

ведут к насилию». И тут же они что-то лепечут о мифотворчестве, о религии. Но интересно было бы знать, что такое религия без догмы, без нормы?

Не связанная никакими нормами, мистика становится темной силой, приводит к потере сознания, к изуверскому опьянению, к уничтожению, а не к утверждению творческой личности. В этом смысле голая мистика есть отрицание действия. Она именно тот концерт, который, по выражению Бугаева, служит громоотводом героизма, а потому она глубоко противообщественна.

Величайшая ошибка не видеть действенной, прагматической стороны догмы, вечных абсолютных ценностей.

Догма — это мост к действию. Скептицизм, голое созерцание, сознание, не связанное никаким постулатом веры — не может перейти в действие. Поэтому у дешевых, модных мистиков, отрицающих всякую общеобязательную норму, не может быть никакого действия. Им с миром, и в миру, нечего делать. Аскеты огулом отрицали мир и уходили из него, мистические анархисты — так же не принимают его, но остаются в нем. Приму ли я мир огулом, или огулом не приму — результат тот же, я признаю себя бессильным бороться со злом в мире, признаю себя не точкой воздействия на мир, а органической клеточкой, участвующей помимо своей воли в мировом *процессе*, а не прогрессе. Не приемлющие мира мистические анархисты отвергли нормы и вечные ценности только для того, чтобы не нести никакой ответственности за мир, чтобы не считать себя обязанными устремлять свою волю к добру, а потому их неприятие мира сводится к самому наивному его приятию, — в том виде, в каком он есть. Пресловутый анархизм становится наивной бутадой, сплошной «словесностью». Только имея определенный критерий, только в убеждении, что существуют абсолютные ценности, применяясь к которым, можно разобраться в мире, отличить в нем добро от зла, «да» от «нет» — деятельность человеческая получает свой смысл, а следовательно получает его и личность человеческая. Превращая мир в безжизненное смешение, отказываясь от всякой нормы, имея которую только и можно действовать, мистические анархисты этим самым отказываются от единственно ценного наследия, полученного ими от декадентов — ощущения *личности*. Ощувив свое одиночество, они пошли вовсе не вперед к *соборности*, а назад, к *стадности*,

к примитивному варварству. А всякое возвращение вспять — непременно хулиганство*.

Мы до такой степени запутались в ложном догматизме, омертвевшие каноны старого быта, старой идеологии до такой степени затемнили наше сознание, связали нашу волю, что разрыв со старым есть уже сам по себе некоторый плюс. Но такое *оголение* может быть только одной из точек линии, по которой мы движемся. Для того чтобы надеть новые одежды, надо снять старые, т. е. хотя бы на минуту обнажиться. Наша литература переживает именно такой момент обнажения, заголениа. В этом факте нет ничего страшного, особенно если бы новые одежды были уже тут, готовы. Но наши мистические анархисты оголились раньше, чем была приготовлена новая одежда, и за них становится страшно. Не замерзнут ли они? Ведь все равно, каких бы босняков они из себя ни корчили, за «исчадиями Волги» им не угнаться. Отказываясь от нормы, от свободной воли, от личности, мистические анархисты — перестают действовать на окружающую их среду, на жизнь, на мир. Не они что-нибудь *делают*, а с ними что-то *делается*. Как эоловы арфы на весеннем ветре издают они жалобные, протяжные звуки. Ветер воет о свободе, о падении старого мира, о новой религиозной общественности, и эолова арфа подвывает ему, подвывает беспомощно и грустно. И действительно, какая грусть лежит на всей современной литературе! Не верится в это разухабистое веселие, в нем — надрыв. Весна наша не дружная, робкая. Днем пригревает на солнышке, а вечером пронизывает холодный ветер, и страшно становится за эти ранние побеги. Не хватит ли их морозом? Слишком они незащитны.

<...>

1907



* Об отношении *догмы* к *воле* см. замечательную книгу *Le-Roy: «Dogmeset-critique»* (Paris, 1907) 22. Ле-Руа один из самых талантливых учеников Бергсона и вместе с тем представитель католического модернизма. Это — вооруженный современной гносеологией философ *прагматизма*. Литература *прагматизма* очень обширна. Особенно ценны труды известного американского психолога *Вилльяма Джэмса*23.